

...Ты не знаешь перекрёстков всех дорог любви...  
Как мне больно. Как мне страшно. Где ты? Позови<sup>2</sup>.

*Надежда Львова*

«Кваску бы сейчас – холодненького, ядрёного... или огуречного рассолу...» – давился зевотой городской. А тут неожиданно и совсем некстати этот скверный случай в Константинопольском подворье... «Ташись теперь туда на ночь глядя, с протоколом майся... – с кряхтением усаживаясь в пролётку, ворчал он про себя. К его досаде примешивалась изрядная доля озлобления: – Вот же глупая баба!.. Приспичило тоже – в воскресенье!..»

Словно читая на расстоянии мысли полицейского, ему вторил, поднимаясь по лестнице, господин в чёрном пальто: «Некстати всё это, некстати... Глупо, пошло, страшно... Неужели это окажется правдой?..» На последней ступеньке он, занервничав, замер, ссутулился, зябко втянув голову в плечи. Пальцы машинально сложились для крестного знамения, но уже через секунду разжались, спрятались в кармане, инстинктивно нащупали и порывисто стиснули миниатюрную серебряную табакерку... Нерешительно переступив порог комнаты, он нос к носу столкнулся с жильцом из соседней квартиры. «Ох, это вы!.. думал, доктор...» – смутившись, пробормотал тот и отступил на шаг, пропуская гостя.

...Это короткое «вы» в дальнейшем обещало проблему. Скоро о происшествии пронюхают газетчики, и тогда его имя станут трепать на всех углах... Вокруг столько врагов и завистников... С каким же удовольствием они вопьются в него зубами, вгрызутся, как шакалы в падаль!..

---

<sup>1</sup> Строка из стихотворения Н. Львовой «Гаснут дни тревожные тающей зимы...» (сборник «Старая сказка», 1913).

<sup>2</sup> Строки из стихотворения Н. Львовой «Я покорно принимаю всё, что ты даёшь...» (сборник «Старая сказка», 1913).

...Она – и уже не она... На бледном запрокинутом челе расплывались свинцовые тени... пузырящаяся кровь на губах... В руках, попытавшихся обнять его, нет былой силы... Поддрагивающее тело безвольно опадает, как ветошь... Он невольно заткнул уши подушечками пальцев, чтобы не слышать глухой предсмертный хрип, тяжело, со свистом вырывающийся из груди, вздымающейся под окровавленным шёлком.

Шёлковое платье... приколотая к воротнику аметистовая брошь... ажурные чулки... «Ну зачем, с какой стати?.. Что за внезапный порыв кокетства?.. Видимо, рассчитывала всё же, что приду...»

...Ярко освещённая комната сверкала чистотой. На туалетном столике, промеж аккуратно расставленных статуэток и портретов в позолоченных рамах, благоухал флакон дорогих духов – похоже, их совсем недавно открывали. Рядом, на подносе, – нераспечатанная пачка печенья «Эйнем», вазочка с кусками рафинада, щипчики для сахара, две чайные пары... Он окончательно понял, что она не собиралась умирать...

Их последний разговор он помнил до последнего слова:

– Прощу вас, умоляю... я должна вас видеть!..

– Не могу, голубушка... не сегодня...

– Если вы не придёте – я умру!.. Клянусь богом, я убью себя!..

– Что за ребячество, милая?.. Говорю же вам, очень занят...

встретимся как-нибудь после...

– Не как-нибудь... Сегодня! Сейчас! Сию минуту!..

Она была на грани истерики. Говорить дальше не имело смысла – сюжет будущей мелодраматичной сцены слишком хорошо ему известен, чтобы вызывать любопытство. Он положил трубку.

А через пару минут – новый звонок. Незнакомый мужской голос – отрывисто, с тревогой:

– Господин Брюсов?.. Прощения просим за поздний звонок! Я сосед госпожи Львовой, Меркурьев моя фамилия... Плохие новости. Надежда Григорьевна застрелилась... Ради бога, приезжайте скорей!..

...Наспех одевшись, он бросился на улицу, остановил первого попавшегося извозчика. В дороге чувствовал удушье, будто не в экипаже ехал, а бежал бегом. В памяти всплывали строчки – щемящие, пронзительные, на которые так щедро была печальная Надина Муза: *«Белый, белый, белый, белый... Беспредельный белый снег...»*<sup>3</sup>. Он отмахивался, гнал их от себя, но они, как подстреленные в полёте птицы, лихорадочно хлопая крыльями, набрасывались на него и терзали сильными когтями: *«Словно саван помертвелый – Белый, белый, белый, белый – Над могилой прежних нег»*... Вынув из кармана маленькую коробочку, он едва не просыпал содержимое трясущимися руками...

...И вот он стоит подле неё, вцепившись дрожащими пальцами в поля шляпы, не решаясь коснуться взглядом распластанного тела, столкнуться с застывшими, тускнеющими зрачками. А она, проиграв схватку со смертью, – далеко...

...Вокруг – всё такое обыденное и размеренное. С будничной монотонностью тикают старенькие ходики на стене. Подрагивает у приоткрытой форточки ситцевая занавеска. В маслёнке неспешно тает масло, которое она так любила намазывать на печенье, а рядом, на салфетке, сверкает начищенный до зеркального блеска нож... Против воли со всех сторон к нему полезли назойливые строчки, написанные ею незадолго до смерти: *«Знаешь, так забавно ударить стэком... Чью-нибудь орхидейно раскрывшуюся душу!»*<sup>4</sup> Чувствуя надвигающийся приступ тошноты, он судорожно сглотнул слюну...

– Где же доктор?! – неприятно резкий окрик постояльца Меркурьева заставил вздрогнуть. – Того и гляди-с, скончается барышня...

– Уже... – только и смог вымолвить он.

Но жилец не услышал, высматривая что-то из окна в сумраке улицы:

---

<sup>3</sup> Строки из стихотворения Н. Львовой «Белый, белый, белый, белый...» (второй (посмертный) сборник «Старая сказка», 1914).

<sup>4</sup> Строки из стихотворения Н. Львовой «Будем безжалостны!» (второй (посмертный) сборник «Старая сказка», 1914).

– Ну, наконец-то, – воскликнул он, – карета скорой помощи!  
Встречать побегу!..

Оставшись в комнате без посторонних, он торопливо оглядел комнату, избегая наткнуться взглядом на неё. Вспыхнувшая жалость так и осталась крошечной, не разгоревшейся искринкой. Если бы она выглядела несчастной или потерянной, он бы, скорее всего, прижал её к себе. Но в каждой черте девушки был вызов – вот, мол, вы не верили мне, а я взяла и сделала *это*, – и он не решился притронуться к ней.

...Аккуратная стопка писем на столе: свой почерк он узнал сразу... Тонкие ученические тетради – черновики, рукопись новой книги... Объёмный, исписанный убористыми, бисерными буквами блокнот – дневник... Незапечатанный конверт с тремя надписанными на нём вензелями – *«В. Я. Б.»*. Покосившись на покойную, он нерешительно взял письмо, пробежал по нему глазами... Неужели это скоро попадёт в чужие руки... его жизнь – станет предметом интереса посторонних людей?.. В огонь бы всё, чтоб и следа не осталось... Уничтожить их маленькую и нелепую тайну... Но он так и не отважился бросить бумаги в печь.

Возле ножки стола чернел пистолет. «Господи, тот самый!..» – в ужасе отшатнулся он, узнав браунинг, который однажды, в порыве необъяснимой причуды, подарил возлюбленной на память. А она им воспользовалась – с присущей ей фанатичной одержимостью, с которой совершала все свои поступки, и вместе с тем расчётливо и хладнокровно – с намерением внушить ему тягостное чувство вины... *«А мою любовь – и мою жизнь взять ты должен...»*<sup>5</sup>. «Что же ты, Наденька, сама руку поднесла к груди, сама на курок нажала, а убийцей меня сделать хочешь?.. Жестоко...»

Хотя в квартире было жарко натоплено, его колотил озноб. Он отчаянно пытался засунуть в карманы пальто предательски дрожащие руки, но они, казалось, жили своей жизнью, поминутно поправляя шарф, крутя и пощипывая кончики усов, снимая и

---

<sup>5</sup> Строка из последнего письма Н. Львовой В. Я. Брюсову.

надевая то на один, то на другой палец массивное обручальное кольцо, зачёсывая назад и без того прилизанные волосы.

В комнату, на ходу распахивая саквояж, вошёл врач – хмурый, заспанный, принёсший с собой стылый запах ветра. Пристально посмотрев на него, чуть поклонился: «Моё почтение, господин Брюсов».

Он почувствовал себя беглым каторжником, на теле которого случайно обнаружили клеймо. Остаться в квартире дольше не было никакой возможности.

– А как же письма? – крикнул ему вдогонку Меркурьев.

Он на секунду замешкался, удерживаемый смутной, не до конца осознаваемой мыслью, что поступает неправильно: не следует оставлять бумаги тем, у кого нет права их читать – выставлять её и свою душу на всеобщее обозрение. Но взять их – это всё равно что унести с собой частицу её истерзанного сердца и тем самым продлить ей жизнь. И свои мучения. Ведь письма – это не просто бумаги в углу секретера. Это голос – гневный, осуждающий. И нежный, от которого щемит в груди. Оставить их здесь – значит, заставить её замолчать. И тем самым навсегда похоронить свою боль.

– Делайте с ними, что хотите... – отвернувшись, он направился к выходу.

...По лестнице, сопровождаемый прислугой, поднимался грузный человек в шинели.

– Услышали выстрел – кинулись в комнату-с... – скороговоркой вещала женщина, идя впереди полицейского и освещая ему путь керосиновой лампой. – Госпожа курсистка – бледненькая вся-с, испуганная – навстречу-с... «Помогите», – прошептала и замертво-с повалилась...

– Родственникам сообщили? – сурово вопрошал городской.

– Помилуйте-с, когда б успели!.. Девица жила одна-с...

– Из мещанского звания?

– Не могу сказать точно-с... Поэтка она вроде-с...

Толстые губы под полоской усов презрительно скривились:

– «Поэтка»!..

Он пропустил их, а потом почти бегом кинулся прочь... Хотелось немедленно, без оглядки, бежать из Москвы вон! Куда-нибудь подальше от людей, этих невольных свидетелей его катастрофы, но главное – от воспоминаний с их надрывной горечью...

...Крыши домов, запорошённых снегом, густой дым, застилающий очертания труб, тусклые фонари, хамоватые, сыплющие бранью извозчики, случайные прохожие, поджигающие озябшие руки в задубевших кожаных перчатках... – на короткое мгновение они мелькали перед ним и навсегда пропадали во мраке беспомысленности, за поворотами беспредельно долгой и мучительной дороги, по которой он пытался убежать от самого себя...

Он старался заглушить бездушную к его отчаянию память. Думать о погибшей девушке было тяжело, да и незачем. В их истории давным-давно поставлена точка. Если бы даже в этот угрюмый ноябрьский вечер она не лишила себя жизни с такой опрометчивой поспешностью, в их отношениях не изменилось бы ровным счётом ничего. Он дал ей всё, что хотел и мог себе позволить. Ей же хотелось самосожжения... Но разве величие поэта состоит не в том, чтобы пройти по грани и остановиться, возвыситься над собственными страстями, обуздать их, словно опытный наездник норовистую кобылу, а потом – отлить в слове муку и томление, вычеканить из пылкости пьянящей филигранно точную рифму?..

...Их встреча способствовала рождению новых стихов – совершенных, наполненных силой и светом. Будучи искусным мастером, он сплёл изящное кружево из золотых нитей страсти... Смятая постель, небрежно брошенное на спинку стула платье, заложенное внутрь книги письмо с расплывшимися от слёз строчками... – это всего лишь вещи, неприметные предметы обихода. Их век уныл и недолог. Однако, преображённые созидательной энергией поэта, они получают магическую власть над воображением и становятся священными... Так же и чувства. Не будучи ограниченными вещью силой слова, они грубы и ничтожны. Только очищающий поэтический пламень озаряет их и дарует вечность... Как же она, бравшаяся за перо, не постигла этой истины? Не поняла, что только ради этого их и свела судьба?..

Ей хотелось небумажной страсти. И она взывала к ней с напором и неловкостью, с коей писала безыскусные стихи в своей одинокой квартирке по Крапивинскому переулку и куда впоследствии увлекала его настойчивыми письмами и звонками. Её категоричная горячность, в которой было столько юношеской живости и свежести, так давно им утраченных, поначалу пленила его, но со временем стала опустошать и изматывать. Своё чувство к ней он исчерпал очень быстро – всё имело начало и конец. Она же с этой утверждённой самой жизнью закономерностью мириться не желала, и без конца твердила, что «он для неё – всё», и требовала ответного чувства. И жаждала невозможного: быть в его сердце «первой и единственной». Он лишь недоумённо пожимал плечами: сначала она сделала его своим богом, теперь вознамерилась сделать святым... Быть богом для неискушённой девочки несложно и до определённой степени лестно, но вот становиться святым не было ни малейшей потребности... Время между тем летело стремительно. Их роман догорал и рассыпался в пепел. Пока зажжённый ею факел освещал его сумрачную мастерскую, он снисходительно терпел её стихийные, как вспышки молнии, выходки. Но когда она начала вторгаться в его упорядоченный, налаженный быт, вносить в его жизнь сумятицу и неудобство, её присутствие начало тяготить. И он мысленно дал этой любви отставку...

...Сквозь отражения оконных стёкол поблёскивали белые панели станции, напомнившей ему большую собачью конуру... Тревожный жёлтый глаз, вспыхнувший в руке путевого обходчика, ослепил, заставил забиться в угол. Трясущимися руками он вытер со лба холодный липкий пот...

...Встряхнув серебряную табакерку, высыпал на ладонь тысячу крошечных ослепительно-белых кристаллов, вдохнул их сладкую изморозь – и унёсся к той робкой и милой Наденьке, которая так дорога была его сердцу в первые дни их встреч, когда она, смущённо краснея, срывающимся от волнения голосом читала ему, прославленному мэтру, свои неумелые, несовершенные вирши, а он пожимал её маленькие, детские пальчики... А потом

было лето в Финляндии: катание на лодке в дурманящем опьянении ночи, и зелёные звёзды, купавшиеся в её влюблённых глазах... Вот те два призрачных видения, две «живые грёзы», воскрешать которые в памяти было приятно. Об остальном помнить не хотелось...

...Утром с курьерским поездом он отправил письмо жене – вспылчивое и сумбурное, в котором обвинял себя в чудовищных преступлениях. Но отрезвившись через некоторое время и избавившись от мук самобичевания, направил в Москву новое послание – с настоящей просьбой позабыть его исповедь, написанную «в бреде и в горячке».

Ответ пришёл незамедлительно. Супруга умоляла беречь себя и не тревожиться из-за возможных слухов: её стараниями щекотливая ситуация, связанная с самоубийством некой особы, улажена – его имя не будет всплывать в газетах. «Дорогой друг, постарайся забыть об этой истории и вернуться к обычной жизни. Всё это не более чем вчерашний день...» Также она настоятельно просила его отправиться в санаторий под Ригой, укрепить расшатанное минувшими треволнениями здоровье. Он подчинился. Её воле – ненавязчивой, но непреклонной – он подчинялся всегда.

...Спустя месяц он вернулся домой отдохнувшим и помолодевшим, с целой кипой новых стихов. В его честь был устроен приём, на который собралась вся литературная Москва. Рядом с ним, но вместе с тем на почтительном расстоянии, с нескрываемым обожанием в глазах, скользила очередная «поэтка» – нежная и трепетная, как только что распутившийся цветок орхидеи.